

Д. Мир феноменов и выражение

1. Отделение — это экономика

Говоря отвлеченно об отделении, мы не превращаем конкретный образ пространственного промежутка, соединяющего свои крайние точки с помощью того самого пространства, которое их разделяет, в абстрактную формулировку. Отделение выступает вне этого формализма — как событие, которое, совершившись, не тождественно своей противоположности. Отделиться, выйти за рамки тотальности значит находиться в определенном месте, в доме, жить экономически. «Где-то» и дом выражают эгоизм, изначальный способ бытия, в ходе которого осуществляется отделение. Эгоизм — это онтологическое событие, действительный разрыв, а не мечта, не тень на поверхности бытия, которую можно рассеять. Разрыв тотальности может происходить только в содрогании эгоизма, который не является ни иллюзией, ни подчинением какой бы то ни было тотальности. Эгоизм есть жизнь, жизнь чем-то, или наслаждение. Наслаждение, открытое стихиям, которые поддерживают его и в то же время, сталкивая в «никуда», угрожают ему, удаляется от них в жилище. Какое множество противоположных движений: погруженность в стихию, предвещающая интериорность: счастливое и полное нужды пребывание на земле; время и сознание, разжимающие тиски бытия и обеспечивающие господство в мире, — все это соединяется в телесном бытии человека; нагота и бедность, подвергающиеся безымянному внешнему воздействию тепла и холода, но при этом — сосредоточение внутри дома, «у себя», и, отсюда — труд и обладание. Обладание в действии сводит к Самотождественному то, что первоначально выступает в качестве иного. Экономическое существование (так же, как животное существование), несмотря на вызванное им к жизни бесконечное расширение потребностей, пребывает в Самотождественном. Его движение центростремительно.

Но разве деятельность не выводит вовне эту интериорность? Разве не удастся ей просверлить кору в состоявшемся отделении? Разве действия, жесты, приемы, изобретенные и используемые инструменты ничего не говорят о их создателе? Разумеется, говорят, но только если они обретают языковые значения, образовавшиеся за пределами их деятельности. Опираясь только на свою деятельность, «я» не может выйти вовне; оно возвращается или же застывает там, как если бы оно не взывало к иному и само не отвечало ему, а укрывалось в своей деятельности, стремясь к комфорту, уюту, забвению. Смысловые линии, которые деятельность проводит внутри материи, тут же становятся расплывчатыми, как если бы деятельность, преследуя собственные цели, не интересовалась тем, что находится вне ее самой, не уделяла этому никакого внимания. Взввшись за дело, я сделал

много такого, о чем и не помышлял, — результат складывается и из брака в трудовом процессе. Рабочий не держит в своих руках все нити собственной деятельности. Он проецирует себя вовне с помощью действий, в каком-то смысле уже не удавшихся. Создавая произведения, он создает знаки, но расшифровать их можно и без его помощи. Если он участвует в расшифровке, то обращается к слову. Таким образом, продукт труда не есть неотчуждаемая собственность, он может быть узурпирован другим. Судьба продуктов труда не зависит от «я», они вступают во взаимодействие с другими продуктами труда: их можно обменивать, они существуют в анонимном мире денег. Интеграция в сферу экономики не затрагивает интериорность, из которой произведения берут начало. Эта внутренняя жизнь не умирает, не сгорает мгновенно, но она не узнает себя в существовании, которое ей предписывается в мире экономики. Об этом свидетельствует осознание человеком тирании со стороны Государства. Оно призывает его к свободе, которую тут же попирает. Государство, реализующее свою сущность через произведения, продукты труда, соскальзывает на путь тирании и вычеркивает мое имя из этих произведений: опосредованные экономической необходимостью, они возвращаются ко мне неузнанными. Если исходить из произведения, то я — только его производное, вдобавок я в нем скорее предан, чем выражен.

Я не проделываю далее отверстия в изоляции, примыкая к другому через его произведения, которые, как и мои, отданы анонимному миру экономической жизни, где я выступаю обособившимся, эгоистом, посредством труда и обладания идентифицируя себя в различном как Самождественного. Другой заявляет о себе, но не предстает передо мной. Его символизируют произведения. Символизм жизни и труда выражается в том весьма своеобразном смысле, который обнаружил Фрейд во всех наших сознательных проявлениях и сновидениях и который составляет сущность и изначальную природу всякого знака: обнаруживая, он одновременно скрывает. В этом смысле знаки конституируют и защищают мой внутренний мир. Выражать себя в жизни, в своих произведениях означает именно отказываться от самовыражения. Труд остается экономическим. Он исходит из дома и в дом возвращается: это путь Одиссея, когда выпадающие в мире приключения — лишь события на обратном пути. Разумеется, в абсолютном плане истолкование символов может стать разгадыванием интенций, однако в этот внутренний мир мы проникаем как взломщики, не удостоверившись в том, что в нем никого нет. Это — отсутствие, которому может положить конец лишь слово, если оно очищено от всевозможных лингвистических наслоений.

2. Произведение и выражение

Вещи проявляют себя, отвечая на вопрос *quid* [64], по отношению к которому они имеют смысл. Этот вопрос требует нераздельных существительного и прилагательного. Подобному стремлению отвечает содержание понятия (будь оно чувственным или интеллектуальным), его «понимание». Автор произведения, если рассматривать его по отношению к произведению, будет выступать только в качестве содержания. Это содержание нельзя оторвать от контекста, от системы, в которую включены произведения; оно отвечает на вопрос своим местом в системе. Спрашивать «что?» значит спрашивать «в качестве чего?»: это значит не принимать проявление за таковое.

Но вопрос, задающийся относительно quid, бывает задан кому-то. Тот, кто должен на него отвечать, уже давно предстает отвечающим на вопрос, предваряющий любое вопрошание о сущности (quiddite). В действительности «кто это?» не является вопросом и не довольствуется знанием. Тот, кому адресован вопрос, уже представлен, не будучи содержанием. Он предстает в качестве лица. Лицо не является модальностью сущности, ответом на вопрос; оно коррелятивно тому, что предшествует любому вопрошанию. Тот, кто предшествует любому вопрошанию, в свою очередь, не является ни вопрошанием, ни априорным знанием; он есть Желание. «Кто», коррелятивный Желанию, «кто», которому задается вопрос, в метафизике является «понятием» столь же основополагающим и универсальным, что и сущность, и бытие, и сущее, и категории.

Конечно, «кто» это в большинстве случаев «что». Спрашивают: кто такой господин X? — и получают ответ: он председатель Государственного Совета, или: это господин Такой-то. В ответе речь идет о сущности, она соотносится с системой отношений. Ответом на вопрос «кто?» служит присутствие не поддающегося определению сущего, который предстает, не соотносясь ни с чем, и при этом отличается от любого другого сущего. Вопрос «кто?» предполагает лицо. Понятие лица отличается от любого представленного содержания. Если вопрос «кто?» не вопрошает в том же смысле, что и вопрос «что?», то это потому, что то, о чем спрашивают, и тот, кого спрашивают, совпадают. Обращаться к лицу значит задавать вопрос «кто?» лицу, которое само и есть ответ на данный вопрос. Отвечающий и то, что отвечают, совпадают друг с другом. Лицо, будучи по существу выражением, формулирует первые слова: означаемое возникает в начале знака, как глаза, которые смотрят на вас.

«Кто?» деятельности не выражен в деятельности, он в ней не представлен, он не присутствует при собственном проявлении, а всего лишь обозначен там знаком в системе знаков, то есть как существо, которое проявляет себя именно в качестве отсутствующего при своем проявлении: проявление в отсутствие бытия — это феномен. Когда пытаются понять человека через его произведения, он бывает скорее застигнут, чем понят. Его жизнь и его труд маскируют его. Они, будучи символами, требуют расшифровки.

Феноменальность, о которой идет речь, говорит не только об относительности познания, но и о способе бытия, где ничто не является предельным, где все есть знак, присутствие, лишенное собственного присутствия, и, стало быть, сновидение. С экстериторностью, которая не является экстериторностью вещей, исчезает символизация, вступает в силу порядок бытия, наступает день, из глубины которого уже не родится другой день. То, чего не хватает внутреннему существованию, не есть бытие в превосходной степени, продолжающее и усиливающее противоречия интериорности и ее символики: это — порядок, где все символы расшифровываются существами, предстающими абсолютным образом, то есть выражающими себя. Самотождественный не является Абсолютом, его реальность, выражающая себя в его работе, в работе отсутствует; его реальность в экономическом существовании не является тотальной.

Только соприкасаясь с Другим, я присутствую в себе самом. Это значит, что мое существование конституируется в мышлении других. Так называемое объективное существование, которое отражается в мышлении других и благодаря которому я что-то значу в мире, в Государстве, в истории, в тотальности, не выражает меня, а как раз скрывает. Лицо, которое я принимаю, дает мне перейти от феномена к бытию в ином

смысле: в словесном общении я предстаю перед вопрошанием Другого, и неотложность ответа — острый момент присутствия — делает меня способным на ответственность; становясь ответственным, я обретаю свою высшую реальность. Это предельное внимание не является актуализацией того, что пребывало в состоянии возможности, поскольку оно немислимо без Другого. Быть внимательным означает избыток совести, что предполагает зов Другого. Быть внимательным значит признавать господство Другого, получать от него повеления, или, точнее, получать от него повеление, призывающее повелевать. Мое существование как «вещь в себе» начинается с присутствия во мне идеи Бесконечного, когда я в себе ищу мою высшую реальность. Однако это отношение заключается в том, чтобы служить Другому.

Смерть не может стать таким господством. Всегда — в будущем, всегда непознаваемая, она служит причиной страха или бегства от ответственности. Мужество существует вопреки ей. Мужество сопряжено с идеалом — оно заставляет меня жить. Смерть, являясь источником всех мифов, предстает лишь в другом, и только в нем она напоминает мне о высшем назначении — о моей ответственности.

Чтобы полнота удовлетворения обнаружила свой феноменальный характер, свое несоответствие абсолюту, недостаточно заменить удовлетворение неудовлетворенностью. Неудовлетворенность все еще существует в горизонте тотальности — как нужда, предвосхищающая в потребности свое удовлетворение; так, люмпен-пролетарий жаждет лишь комфорта жизни буржуа и его филистерского кругозора. Полнота удовлетворения выявляет свою феноменальность, когда возникает экстериторность, которой чужда пустота, свойственная удовлетворенным или подавленным потребностям. Она выявляет свой феноменальный характер, когда эта экстериторность — несоизмеримая с потребностями — разрывает интериторность в силу самой несоизмеримости. Тогда интериторность обнаруживает свою недостаточность, притом эта недостаточность не говорит о каком-либо ограничении, налагаемом самой этой экстериторностью; недостаточность интериторности не превращается тотчас же в потребности, предчувствующие свое удовлетворение или страдающие от его неполноты; в горизонтах, обозначенных потребностью, не протупает вновь прерванная интериторность. Такого рода экстериторность обнаруживает недостаточность отдельного бытия — недостаточность без возможного удовлетворения. Речь идет не только о фактической удовлетворенности: это — вне перспективы удовлетворенности либо неудовлетворенности. Экстериторность, чуждая потребностям, выявила бы только недостаточность, полную самой этой недостаточности, а не надежды; она бы выявила дистанцию, более значимую, чем прикосновение, не-обладание, более ценное, чем обладание; голод, утоляемый не пищей, а самим голодом. Речь идет не о некоей романтической мечте, а о том, что с самого начала данного исследования было представлено как Желание. Желание не тождественно неудовлетворенной потребности, оно находится по ту сторону удовлетворения и неудовлетворения. Его реализует отношение к Другому, или идея Бесконечного. Каждый может его испытать в том странном желании Другого, которое никак не связано со сладострастием; последнее не может ни увенчать его, ни удовлетворить, ни унять, ни притупить. Благодаря этому отношению человек, вырвавшийся из объятий стихии, сосредоточившийся в доме, получает представление о мире. Человека, благодаря присутствию перед лицом Другого, не вводит в заблуждение собственное победное шествие в качестве живущего на земле; он, в отличие от животного,

способен познать разницу между бытием и феноменом.

осознать свою феноменальность и недостаточность своей полноты, недостаточность, не переходящую в потребность: она не может быть восполнена, поскольку находится по ту сторону и полноты, и пустоты.

3. Феномен и бытие

Явление экстерииорности, обнаруживающее недостаточность суверенной интерииорности отдельного бытия, не помещает интерииорность в тотальность в качестве части, ограниченной другой частью. Мы вступаем в сферу Желания и отношений, которые не могут быть сведены к тем отношениям, что управляют тотальностью. Противоречие между свободной интерииорностью и призванной ее ограничивать экстерииорностью разрешается в человеке, открытом научению.

Научение — это общение, в ходе которого учитель может сообщить ученику то, чего ученик еще не знает. Учитель не прибегает к маевтике, но по-прежнему стремится заронить в «я» идею бесконечного. Идея бесконечного предполагает идею души, способной содержать в себе больше того, что она может почерпнуть из самой себя. Она говорит о внутреннем бытии, способном вступать в связь с тем, что находится вовне, и которое не принимает свое внутреннее содержание за бытие в его тотальности. Вся настоящая работа направлена исключительно на то, чтобы представить духовное в этом картезианском плане, который предшествует плану сократическому. Ведь сократовский диалог заранее предполагает людей, уже готовых к дискурсу и, следовательно, принявших его правила, — тогда как научение ведет к логическому дискурсу без риторики, без лести, соблазна и, стало быть, насилия, сохраняя интерииорность того, кто согласился на общение.

Человек, живущий наслаждением, замкнувшийся в своем внутреннем мире и упрочивающий свою отделенность, может игнорировать собственный феноменальный характер. Такое незнание не говорит об ущербности сознания — оно является платой за отделение. Отделение как разрыв причастности было выведено из Идеи Бесконечного. Поэтому она является также отношением, существующим над неизмеримой бездной этого отделения. Если отделение можно охарактеризовать через наслаждение и экономику, это объясняется тем, что суверенность человека ни в коем случае не является оборотной стороной отношения к Другому. Отделение не сводится к простому аналогу отношения, Отношение к Другому не обладает тем же самым статусом, что отношения, доступные объективирующему мышлению, или отношение, где различие терминов означает одновременно связь между ними. Отношение между Я и Другим не имеет той структуры, какую формальная логика видит в любых отношениях. Его понятия абсолютны, не зависят от отношений, в которых они находятся. Отношение к Другому является единственным отношением, где с формальной логикой может произойти подобное. Отсюда становится понятным, что идея бесконечного, требующая отделения, в этом своем требовании доходит до радикального атеизма, в котором она может просто-напросто утратить себя. Забвение трансценденции в отдельном бытии происходит не случайно — возможность этого забвения является необходимым условием отделения. И дистанция и интерииорность полностью

сохраняются при возобновлении отношения, и когда в чуде научения открывается душа, научение оказывается столь же подлинным, что и свобода, которой обладают и учитель, и ученик, — хотя при этом отдельный человек и выходит за пределы сферы экономики и труда.

Мы уже говорили, что момент, когда отдельное бытие обнаруживает себя, себя не выражая, когда оно появляется, отсутствуя в своей явленности, — этот момент достаточно точно соответствует смыслу феномена. Феномен — это бытие, которое является, но остается отсутствующим: не видимость, а реальность, которой недостает реальности, еще бесконечно удаленная от своего бытия. В произведении мы угадываем чью-то интенцию, но судим о ней заочно. Бытие не устремилось на помощь самому себе (как об этом говорит Платон по поводу записанной речи), собеседник не присутствовал при своем обнаружении (*révélation*). Мы проникли в его внутренний мир, но сделали это в его отсутствие. Мы восприняли его как доисторического человека, оставившего нам свой топор и свои рисунки, но отнюдь не слова. Все происходит так, как если бы слово, которое может лгать и утаивать, было абсолютно необходимо для освещения деталей личного дела и выявления улик, как если бы только слово могло ассистировать судьям и представлять обвиняемого, как если бы только благодаря слову разнообразные конкурирующие возможности символа — символа действующего в тишине, в сумерках, — могли прийти к соглашению и привести к рождению истины. Бытие — это мир, в котором говорят и о котором говорят, а общество — присутствие бытия.

Бытие, вещь в себе, не является в отношении к феномену тем, что сокрыто. Его присутствие предстает в слове. Полагать вещь в себе сокрытой означало бы предположить, что по отношению к феномену она то же, что феномен по отношению к видимости. Истина разоблачения (*du dévoilement*) — не более чем истина феномена, скрытого за видимостью. Истина вещи в себе не обнаруживает себя. Вещь в себе выражает себя. Выражение же говорит о присутствии бытия и делает это отнюдь не путем простого устранения покрова феномена. Оно, как таковое, есть присутствие лица и, следовательно, призыв и обучение, вступление в отношение к «я» — этическое отношение.

Далее, выражение не выявляет присутствия бытия, идя от знака к означаемому. Оно представляет означающего. Означающий, тот, кто полагает знак, не является означаемым. Знак как таковой мог возникнуть только в обществе означающих. Означающий, следовательно, должен представить сам себя до всякого знака — должен представить лицо.

Слово — это, действительно, весьма специфическое проявление: оно не идет от знака к означаемому и означаемому. Слово позволяет отомкнуть то, что любой знак закрывает в тот момент, когда пролагает путь, ведущий к означаемому, давая означаемому присутствовать при этом проявлении означаемого. Этим присутствием измеряется избыточность устной речи по отношению к речи письменной, ставшей знаком. Знак — это безмолвный язык, язык прерванный. Язык не сводит символы в систему — он их расшифровывает. Однако в той мере, в какой это подлинное проявление Другого уже состоялось, в какой сущий предъявил себя и устремился себе на помощь, все другие знаки — не только словесные — могут выступать в качестве языка. Само же слово, напротив, не всегда встречает прием, какой следовало бы оказывать ему в качестве слова, поскольку оно

предполагает и не-слово и способно к выражению так же, как инструменты, одежда, жесты. Своим способом выражения, стилем слово обозначает, выступая как деятельность и как результат деятельности. Со словом как таковым, в его чистоте, оно соотносится так, как почерк, рассматриваемый графологом, — с письменным текстом. Слово в качестве деятельности обозначает, — как это делают домашняя обстановка или инструменты. Оно не обладает ни совершенной прозрачностью, с какой взгляд устремляется навстречу взгляду, ни абсолютной искренностью отношения лицом-к-лицу, содержащегося в глубине любого слова. Меня нет в этом моем слове-деятельности, как нет меня и во всех произведенных мною вещах. Однако я остаюсь неиссякаемым источником этой вечно возобновляющейся деятельности по расшифровке. И это возобновление и есть именно мое присутствие, мое ассистирование самому себе.

Существование человека остается феноменальным, поскольку оно интериорно. Язык, благодаря которому человек существует для другого человека, — это для него единственная возможность такого существования, которое значительнее внутренней жизни. Тот избыток, который содержит язык по сравнению со всеми произведениями и трудами человека, выражающими и представляющими его, является показателем того, как далеко ушел живой человек от человека мертвого: хотя последний — единственный, кого признает история, поскольку объективно она имеет дело с ним, через его труды, его наследие. Между замкнувшейся в своей интериорности субъективностью и субъективностью, недопонятой в истории, существует содействующая субъективность, которая говорит.

Возвращение от мира знаков и символов, мира феноменального существования к однозначному бытию заключается не в том, чтобы интегрироваться в некое целое, каким его видят мыслители и формируют политики. В этом случае независимость отдельного бытия оказывается утраченной, непризнанной, подавленной. Возвратиться к бытию, направленному вовне, к бытию, имеющему однозначный смысл, то есть не скрывающему никаких иных значений, значит вступить в открытость отношения лицом-к-лицу. Речь идет не об игре зеркальных отражений, а о моей ответственности, то есть о существовании, уже связанном обязательствами. Ответственность переносит центр тяжести отдельного бытия вне его. Преодоление феноменального, или внутреннего, существования состоит не в том, чтобы получить признание со стороны Другого, а в том, чтобы предложить ему собственное бытие. Быть в себе значит выражать себя: это уже значит служить другому. Основой выражения является доброта. Быть как'авто значит быть добрым.

Версия #1

Зверобой создал 2 декабря 2025 20:21:56

Зверобой обновил 2 декабря 2025 20:28:08